

Спор о стихах

Часть бора против юго-западной окраины Камышлова зовется Бамбуковкой. Почему Бамбуковкой — этого никто не скажет. Может быть, просто какой-нибудь шутник хотел отметить, что здесь допивались до «бамбукового» положения — не встанешь. Может быть, и другое: рослый камыш по берегам заболоченной старицы Пышмы сравнивали с бамбуковыми зарослями.

Бамбуковка издавна дачная местность. Наряду с добротными дачами городских толстосумов немало дач «среднего качества». Есть и вовсе облегченного типа — «вроде нужничка с верандой», как про них говорилось.

В солидно устроенных дачах основное занятие — чаепитие, еда и простое сидение, в средних — рукоделие и преферанс, а в «нужничках» — что придется. Там и книжку-газету читали, и «проникали в политику», и Бальмонта разбирали, и природой наслаждались, то есть обрывали цветы вплоть до пахнущего трупом багульника и перетаскивали их в свои веранды: отбиваясь от комаров, «вдыхали аромат соснового бора», «внимали таинственным шумам лесным» и прочее, что полагалось «отдыхающему культурному человеку».

В праздничные дни сюда довольно густо шли рабочие с семьями и в одиночку. Тащили чайники, гармошки, иногда пиво.

Мещанин города, имеющий «свою собственную лошадку», обычно проезжал дальше, — на Шумовое, Белый Яр и другие места. Он старался и в праздники остаться в замкнутом кругу своей семьи и родни.

«Отцы города» — еще вовсе старого выпуска — унюхали в Бамбуковке «добрую копеечку» и «всех убогатворили», построив довольно обширное здание курзала.

Ловкий ресторатор объявил здесь «кухню под управлением повара Жана из Киева, с отдельными кабинетами». Все, конечно, понимали, что это так только, — для важности. Знали, что Жана зовут Кузьмой, что родом он из Закамышловки и раньше, пока не изувечили, содержал в Барабе «терпимый дом».

Появился оркестр, тоже «под управлением». Половину здания оборудовали, как летний театр, где «местными любителями сценического искусства» ставились «эффектные драмы» и «веселые водевили». Иногда тут появлялись

престижисты, трансформаторы и другие изголодавшиеся в более крупных центрах «зряшного ремесла 4-й руки подмастерья». Для «простого народу» — качели, «залезальные за жилеткой столбы», «кольца для лягушки», «исполиньские» бруссы, лестницы. Словом, были приняты все меры, чтобы обеспечить верный доход буфету «с горячими и прохладительными». И расчеты оправдывались. Тот же ресторатор, который держал «кухню под управлением», настолько бойко торговал из буфета, что каждый год «отцы» делали «накидочку попенной платы». Ресторатор канючил, скулил, клялся-божился, что прямой убыток несет на «этом деле», что только по слабости характера он терпит такое беспокойство. Но «отцы» благодушно улыбались, возражали:

— Ты скажи, около которого пенька у тебя пьяный не валялся? В хороший праздник вплоть до Фадюшинского кордону лежат. Не с пятака же человек скопытился. Народ у нас на этот счет крепкий. Ежели тебе рублишко замотает, так ни в едином глазу не заметишь.

— С собой приносят, — вздыхает буфетчик.

— Еще бы! Трезвый не всяк к твоей стойке подойдет. Цены-то у тебя, как хорошая собака. Вот попадет закваска, тогда и пошел-гуляй, Маша, пока воля наша. До последнего, значит, грошика. Хо-хо-хо... А ты и от закладу, небось, не откажешься? Верно? С ломбардом конкуренцию ведешь и патента не выбираешь... Хо-хо-хо... А Кузька твой что делает в кабинетах-то?

— Да и что тебе беспокоиться? Ломтик потоньше пустишь, копейку, где можно, подкинешь, и набежит. Еще как набежит-то!

Такую «прозорливость отцов», разумеется, перекрыть было нечем — сами были жулики первостепенные и буфетчик «добавлял», не забывая добавить «соответственно».

«Нужнички», по мягкости сердечной, протестовали — внутри себя, конечно, — против спаивания народа и мрачно декламировали: «По русскому, славному царству»... Но сами в мужской своей части нередко подходили к стойке или «требовали за отдельный». Уходили после этого не совсем на твердых ногах, с трудом заканчивали словесное ратоборство с понтийскими Пилатами и лукавыми Иудами, которые «Христа своего рас-с-п-пи-нают, отчизну свою прод-д-дают».

Зато в купеческих дачах на праздничную «работу» буфета смотрели с явным удовлетворением. Даже с гордостью.

Вон в крайней Выборовской даче сидят на террасе двое около неизменного самовара. Оба толстые, с облезлыми уже головами и опухшими ногами. Та только и разница, что у одного бороденка вроде насмешки, а у другого широким седым веером.

— Наши это... Мельнишные... От людей не отстанут... Ухом землю достанут...

— Гляди-ко, алафузовские... Лыка не вяжут, а на железную дорогу драться лезут.

— Ничего не выйдет, — вздохнула широкая борода и пояснила: — Эта черная копоть — железна-то дорога, не очень драться охоча. Все у них уговоры да шепоты. Против хозяина настроить — это их поискать, а чтобы драться, стенка на стенку, — этого нет. В кишках, видно, силы не имеют.

— Приказчиков нонешних тоже не хвали, — откликнулся другой. — У тятеньки вон, покойника, — боец к бойцу приказчики-то были. Посмотреть любо. А ныне что? Назгальный народишка. Надели брючки да книжку и читают. Приказчиье это дело, скажи, пожалуйста... а? Вон у Щербакова в магазине-то до чего дошло. Политики оказались. Конфуз старику-то, Григорь Гордеичу. Он там в Екатеринбурге сном дела не знает, что у него сынки в Камышлове устраивают.

— Это все Евгении Егоровны братец развел около себя. Он все. Послали тоже из Екатеринбурга подарочек. Наденут очки-то с молодых лет да и мудрят.

— Также и Щербаковы братья по за глазам у старика сверх голов умничают — эких людей на службу принимают.

— Образованные! Не старое, говорят, время — в ухо не съездишь, надо по-другому обращение иметь с рабочими.

— Вот и дошел Николай-то... Застрелился... Как офицер какой, даром, что они старого обряду купцы. Старик-от, слышь, поучил его хлыстиком маленько. Николай не стерпел... По-благородному выходит — пулю в лоб, а отца оконфузил...

— Дело тут семейное, не наше... Только вот неймется молодым-то. У Козырицкого опять какой-то появился... ссыльный, говорят. Видел? В синей рубахе ходит... при галстукке...

— Так то сапожник... по уголовному делу сослан... таких бояться нечего.

— Кто его знает! Разговор у него ровно не в ту сторону клонит, куда надо. Слыхал я как-то на базаре. Шумел... Я бы такого на порог не пустил, а тут его

привечают. Помяни мое слово, — покается Козырицкий-то, что не послушался старых людей. Перебулгачит эта синяя рубаха у него всю мастерскую.

Помолчав с минуту, широкобородый пожаловался:

— Говорил я в Думе про это... Чтобы то есть с опаской брали пришлых-то...

— Ну и что? — заинтересовался собеседник.

— Чуть не на смех подняли... Депутат этот наш, в Думу-то... Михаил Алексеевич дома случился... Он мне и наговорил четвергов с неделю. — Мы, говорит, должны о машинах заботиться и при них настоящих рабочих иметь, которые понимают, как и что, а купеческому сословию, — это нам-то, учиться надо, как с рабочими обхождение иметь. Надо, говорит, Михайлов-архангелов отставить и всем записаться в кадетскую партию. А то, видать-де, что Сидор Матвеевич вовсе духу не чует.

Тут я погорячился. Обидно показалось. Как, говорю, духу не чую, коли я с малых лет по рыбному делу. И тятенька этой части держался и деданька. Да у меня, говорю, нюх-от хоть на выставку — за версту различу, который день рыба лежит. Ну, и отчитал его по-отечески. За архангела тоже постыдил. Довольно, говорю, совестно тебе, Миша, так выражаться про архангела, святое имечко которого носишь. Мыслимое ли дело архистратига божия кадетом заменить. А насчет того, чтобы мне в кадеты поступить, прямо сказал — комплекция не позволяет. Кадет должен быть легкого весу и на ногу быстрый, чтобы туда и сюда поспеть. Какой же из меня кадет, коли весу во мне восемь пудов.

— Восчувствовали? — спросил собеседник.

— Извинялся потом. Не так, говорит, меня поняли. И долго рассказывал про Думу и вообще. Говорок ведь и раньше был, а в Думе вовсе понаторел. Так и сыплет. Все больше о том, что теперь к рабочему надо подход иметь. По старинке, дескать, нельзя. Потом Яша Крупин стал говорить. Тоже ведь ученый. Этот больше насчет банка городского и про то, как лукавуты устраивать. Заедино, дескать, всем купцам и промышленникам действовать надо одной партией. К тому же и вывел. Чисто заели меня своими разговорами, да спасибо Хромцову. Он хоть тоже ихней партии, только помягче будто и Михаила-архангела не опровергает. Только он и сказал: «Поосторожней бы со старыми людьми обходиться надо». Тут и поднялось. Я думал — драка будет. На что Петр Петрович солидный человек, ровно так с палкой и родился, а тут орет тоже за кадетскую партию. А Зазюкович, знаешь, глиста такая судейская, сухонький, а видно ярый, так тот на стул, понимаешь,

залез и визжит на всю залу: «Враги нам, которые без понятия действуют». Нам, старикам, невтерпёж показалось, что мальчишка не знай чему учит, мы заорали скопом: «Прикрыть наставления!» Они опять свое орут. Так допоздна и спорили. И все об одном: кого правильнее купечеству держаться — архангела али кадета?

— И до чего договорились?

— Да так, не dospopили до конца-то. Только шибко сильно берут кадеты. Вроде как их бо́льшина выходит.

— Д-да, — согласился собеседник и, перебирая заплывшими пальцами волоски своей бородачки-насмешки, задумчиво заговорил: — Не понимаю я, Сидор Матвееич. Ведь вот Михайло-то ровно вовсе хороших родителей сын. Домов у него целый квартал. С чего он в кадеты записался? Крупину Яше, тому боле подходит, он все по письменной части, вроде из дворянства. Отцы-то, поди, царю служили в юнкерах либо еще кем. Ну этот в кадетах служит. А Михайло-то с чего? Ведь не молоденький уж, скоро сам стариком пахнуть станет. От чистого купеческого корню, а тоже кадет... Вот в Шадрине, в Ирбите — там этого нет. Перед выборами барахоят, конечно, по малости... с казового конца товар подносят. Ну, там поговорят насчет школ-больниц, про землю-матушку, про трудовой народ, да про пьянство. Тем дело и кончится. Нет того, чтобы, как у нас, по-военному, — всем купцам в кадеты... Этого ни-ни. Спокойно живут... А у нас, смотри, какая зараза завелась! Из всей губернии, должно, только и есть один Камышлов под кадетами ходит. С чего это? И ведь стараются как... Будто им за это жалованье дают. Петр-от Петрович вон ко мне приехал... Думаю, по делу какому, а он о кадетской партии говорить. Ты подумай!

— То я и говорю — образованные стали. От стариков отодвинулись. По лесу вон телефонов наставили... Машин купили пеньки дергать. А к чему они, пеньки-то? Лесу не стало? Пять вон школ завели постройкой. Легкое ли дело... Отцы-то сколько лет наживали, а тут живо раструсят на то да на се.

— Это ты напрасно, Сидор Матвеевич. Тоже они не без расчета... Леском неплохо торгуют, от банка да ломбарда тоже отламываются крохи немалые.

— А кто им лес-от нажил? Кто его сохранил? Ловко это готовым-то торговать. И благодарности не чувствуют. А вот за то место, — и старик указал на Бамбуковый курзал, — даже укоряют. Пьянство, дескать, тут разведено... Ровно грех рабочему с устатку выпить праздничным делом...

И, глядя на свалившегося около камышей пьяного, оба «обветшалых столпа» умилились:

— Мой это, с мыловарки мастер. Ишь, нашел место... рылом в болото... прохладнее, видно.

Сменившие облезлых «отцов города» новые представители буржуазии, хорошо вооруженные знанием, называвшие себя уже не «отцами», а «деятелями», шире захватывали глазом, глубже проникали в суть явлений. Но и они, эти «деятели», могли быть спокойны, глядя на бамбуковский барометр. Пока неизменно росла «попенная плата» с буфета, пока рабочий в значительной массе проводил свой досуг «под парами», капиталисту, разумеется, было легче. «Деятели» внешне протестовали против «спаивания народа на Бамбуковке», хотя мосты через Пышму и старицу наводили без запоздания, а спуск к реке даже вымостили камнями, чего не было нигде в городе. На очередном повышении «попенной платы» тоже пытались нажить кой-какой политический капитал. Изображали это мерой, направленной к сокращению пьянства. С этой же, вероятно, целью — показать свою полную непричастность к бамбуковским безобразиям — «деятели» с званием «настояще-образованных», как правило, не имели на Бамбуковке дач и не жили там. Появлялись лишь во время «благотворительных гуляний», «гала-представлений», лотерей и то больше в женской своей части. Так безопаснее.

В годы империалистической войны Бамбуковка сильно изменилась. Буфет по случаю «сухого закона» закрылся, кухня под управлением Кузьки-Жана сникла еще раньше. В населении дачного поселка произошли внешние и внутренние перемены.

Объемный купчина старой закваски перестал здесь жить, откровенно мотивируя:

— Злой ноне народ стал, — боязно в лесу-то.

Место этих испугавшихся занял новый жилец, из только что начавших оперяться хищников. Все эти «поставщики фуража хозяйственным способом», «вагонные воры», «одеколонщики-политурщики» и другие разновидности, появившиеся во время войны, были народ рисковый. Сами готовые на все, вплоть до «мокрого дела», лесу они не боялись, им там даже казалось удобнее.

Частично на опустевших купеческих дачах были размещены беженцы — живой показатель обнищания, вызванного войной.

Все это отразилось и на дачной интеллигенции. Одним стало «противно с этими грязными беженцами», другие струсил «вагонных воров», но дачи все-таки не опустели, в них стали появляться лишь на день, а на ночь большинство уходило в город.

Проблемы Бальмонта, Игоря Северянина сменились проблемами «спасителя отчизны». Перебирались Самсонов, Иванов, Алексеев и прочие очередные генералы-спасители. Вместо стихотворного разоблачения понтийских Пилатов и лукавых Иуд теперь со слезой гордости декламировалось некрасовское: «Ты и убогая, ты и обильная, матушка-Русь». В утешение себе, что война не дойдет до Бамбуковки, добавлялось: «А там, во глубине России... там... вековая тишина».

Летний театр все-таки работал и без перебоев. Играл и оркестр «под управлением».

По создавшейся годами привычке шли на Бамбуковку в праздничные дни рабочие. Но в составе рабочих посетителей произошел заметный отбор. Те, кого раньше привлекал главным образом буфет, теперь разбредались на праздник по рыбалкам, поближе к деревням, чтобы «нюхнуть самогончику», в «сортах разобраться». На Бамбуковку шел лишь тот, кто в какой-нибудь степени интересовался музыкой и театром, или тот, кому надо было «перекинуться словом с дружкой», повидаться с рабочими других предприятий, потолковать о делах на фронте и в тылу.

Это «соответственно было учтено», и около рабочих закружились шпики.

Тут же полезли добровольцы обывательского типа, которые пытались «вразумлять», и было уже несколько случаев, что таких «вразумителей» жестоко били, когда было основание подозревать их в доносах.

На второе отделение публики осталось не очень много, и она заметно разграничилась.

Ближе к сцене сидели представители городской интеллигенции, тут же и тыловые мародеры, временно заменявшие на дачах буржуазию старого образца. Около барьера, на задних скамьях — довольно компактная группа рабочих. На облысевшей середине — редкие фигуры того неопределенного элемента, который при выборах голосует за самый неожиданный список вроде «домовладельцев Малоподвальной улицы».

Передние ряды настроены в тон ласковому летнему вечеру. Сладенького бы теперь, со смешинкой! Забыться бы от газетных сообщений, сквозь туман которых все чаще стала пробиваться струя тревоги.

«Средний зритель», как ему и полагается, никакого своего настроения не выражает. У него единственное желание — не пропустить, кто с кем разговаривает и о чем, и он наостривает уши и поворачивает голову то в ту, то в другую сторону.

Рабочая группа расположилась в правом углу к барьеру, образуя почти правильный треугольник, короткое ребро которого доходило до шестой скамьи, а длинное тянулось на три четверти барьера. Преобладают в группе мужчины, но изредка есть и женщины. Заметно выделяются двое мужчин, которые сидят один за другим с краю скамей у прохода посередине зала.

Один — спереди, среднего роста, русоволосый, со «свислыми» усами, лет 35, в выцветшей синей блузе без пояса, в потрепанной фуражке австрийского образца — с узким верхом.

Другой — сзади, вовсе еще молодой человек, лет 22—23. Одет щеголевато. Черная сатинетовая рубашка аккуратно стянута широким желтым ремнем, суконные брюки заправлены в безукоризненно вычищенные сапоги. Под одеждой чувствуется на редкость сложенная фигура. Такие иногда встречаются среди атлетов так называемого среднего веса. Они не подавляют фундаментальностью, но каждому видна и большая физическая сила и редкая четкость регулирования движений. В глубокой дали веков с такой натуры высекались из мрамора Дионисы, Аполлоны и другие образцы юной мужской красоты и силы.

Густые, широкие, как наклеенные бархотки, брови и черные с угольным блеском глаза на продолговатом лице с твердо выраженным подбородком нельзя не заметить на общем фоне русоволосых голов со смазанными в большинстве чертами лица. И как-то даже не верится, что этот на редкость красивый человек родился и вырос тут, в Камышлове, и с детских лет работает на Алафузовском сырьезаготовительном заводе.

За барьером справа одинокая фигура лысеющего, длиннолицего, длиннозубого человека. Длина зубов может быть особенно заметна, что из «говорильных» зубов четырех нет — по паре вверх и вниз. Такие «метки» чаще всего делались в полиции. Специалисты этого дела, как известно, даже особые кольца носили с утяжелением в виде печатки для удара. Одет этот длиннолицый по-приказчиьи: брюки навыпуск, манишка, галстук, пиджак; в правой руке, которой опирается на барьер, — шляпа-котелок. Характерный жест — вскидывание головы и настороженное прямое положение корпуса. За эту повадку враги зовут его «загниголовый Терентий».

Настроение у рабочей публики, как говорится, среднее. Собрались после звонков и теперь ждут, что дальше. Скучновато...

— Фокус бы какой показали, — резюмирует свое настроение один из сидящих у самого барьера.

— Вишь выискался на пустяки любитель! Ровно бы не маленький, — с укоризной отозвался другой и повернул в сторону говорившего свое испитое, строгое лицо, с глубоко запавшими глазами и грубой щеткой коротко стриженных усов. По огрубевшей бурой коже лица можно было легко догадаться, что это рабочий по металлу.

— Это же ты напрасно, Данилыч, — вмешался в разговор человек в синей блузе. — Я бы вот хороший фокус посмотрел. Поучился бы сам, как его лучше делать.

— Какой тебе понадобился? — все так же сурово спросил Данилыч.

— Такой вот... — Синеблузник немного задержался и, чуть понизив голос, пояснил: — Показали бы, как из золота кровь добывать.

— А есть такой?

— Должен, по-моему, быть. Видим же мы, третий уж год... как из крови золото делают...

— Вон ты куда, — примирительно отозвался строгий слесарь, но в это время заширкали по железу кольца занавеса, и разговор прекратился.

На сцене рослая, пышноволосая сбитыш-девица крепкой купецкой выкормки. Мягкие, спокойные движения, но в голосе какая-то далекая отрыжка базарной торговли. Он неприятно резок и со срывами.

Звонко выкрикнула: «Родина зовет», стихотворение Наталии Грушко...

Уверенно, как привыкшая к выступлениям, дала длинную паузу... для настроения. Предполагалось, очевидно, и самой перестроиться на глазах у публики, как-то внешне отразить «красиво-печальный образ тоскующей, но гордой матери».

Но ничего не выходило. На лице чтицы по-прежнему одно глупое самодовольство. Видно, что она горда своим молодым, крепким телом, своей пышноволосостью, двумя отцовскими салотопками, ловко сшитой гимназической формой из хорошей материи, праздничным белым фартуком и тонкими «настоящими бельгийскими» прошвами, идеально проглаженными складками, и только.

У публики тоже нужного настроения не получилось. Передние ряды, впрочем, пытались сделать приличный случаю вид торжественного внимания, зато в задних рядах сказалось прямое недовольство.

— Опять эта выползла про войну размазывать!

Патриотическую гимназистку широко знали. Знали, что она всегда «про войну читает», что ей с чрезмерным усердием аплодирует офицерская молодежь расквартированного в городе 157-го запасного полка. Который полюс магнита действовал сильнее: молодое, здоровое тело или тятенькины салотопенные доходы — разбирать не стоит, только чтнице часто подносили цветы, в антрактах она была в офицерском окружении и уже стала чувствовать себя восходящей театральной звездой уездного масштаба.

На этот раз почему-то в зале не видно было золотых погон. Только пара серебряных полицейских спускалась от длинной шеи по очень покатым плечам тощего, остроголового надзирателя. Рядом с надзирателем прели телеса его «ужасно нравственной» супруги, которая могла тут же «на людях» задать головомойку своему рыжему Мефистофелю в случае его восторженности перед «этой воображулей». Подозрения у нее были. Верные люди передавали, что иногда в изысканном поклоне бронзовый завиток на подбородке надзирателя что-то уж очень близко подходит к пышному бюсту уездной патриотической звезды.

— Я тебе покажу, жирафа плешивая! — И в глазах затаилась змеиная злоба.

Гимназисткой не учла особенностей зрительного зала и самоуверенно начала:

Я в муках родила четыре сына...

Человек в синей блузе довольно громко и быстро спросил:

— Двойнями или по одному?

Молодой человек, сидевший сзади, громко расхохотался. Нашел на него тот смешливый стих, когда при всем желании сдержаться не можешь сделать этого, пока не нахохочешься вволю, до слез, до колик. Такой смех всегда заразителен: глядя на смеющегося, начинают смеяться и те, кто даже не знает причины смеха. Так и тут — по рабочей группе прошла волна смеха.

Из передних рядов зашикали, зашипели, но тут же начались расспросы шепотом: над чем это они?

Средний зритель-передатчик охотно объяснил:

— Сапожник вон слух пускает... будто гимназистки обязательно двойнями родят.

Другой «промежуточный» поспешно и неосмотрительно дал свое заключение:

— Верное слово. Завсегда около таких грудкой ходят... Меньше двойни никак невозможно...

Гимназистка между тем продолжала выкрикивать о довольно странном, но безусловно патриотическом желании старшего сына.

Хочется погреться в сече, средь огня,
где кружатся пули — майские жуки,
как ежи, щетинясь, высятся штыки...

Это бестактное размусоливание войны, когда чуть не в каждой рабочей семье она уже болезненно чувствовалась в виде потери или увечья кого-нибудь близкого, вызвало возмущение. В задних рядах начали ругаться в открытую:

— Погреть бы тебя, толстомясую, в этом месте, запела бы!

— Ежиком-то таким в брюхо двинуть!

— Берегись, жуки летят! — весело крикнул подросток и звонко засвистал «по-жуланьи».

Чтица оборвала на половине строки и быстро сунулась за кулисы.

Самый строгий ревнитель общественных нравов города, акцизный чиновник не мог дальше терпеть такого «хамского отношения» со стороны публики и встал.

— Господа! Прошу прекратить неуместный шум и посторонние разговоры и тем более свист в театральном зале.

— Ты и не разговаривай, — откликнулся синеблузник.

— Господин сапожник Подпорин, — язвительно подчеркнул первые два слова акцизник, — во-первых, не обращайтесь ко мне на ты, — я вам не сват и не брат, а во-вторых, не распространяйте клеветнических слухов о нравственности девиц, которые против вас высоко стоят.

Выслушав эту рацею, Подпорин поднялся, снял фуражку и под смех окружающих проговорил:

— Извиняюсь, ваша монопольная светлость восьмого разряда!

— Это что? Оскорбление? Будьте свидетелями, господа... Я вам этого не оставлю. — Обращаясь к сапожнику: — В суде ответите.

— Так и в суде скажу. Учили, мол, меня в солдатчине титуловать полным званием, вот я и титулую. Чего в табели нет, сам придумываю. Поблагодарят за это, больше ничего не будет.

Рабочие хохотали, акцизник исступленно визжал:

— И за клевету... тоже ответишь.

— За какую?

— Про воспитанниц местной женской гимназии... Все... слышали. Будьте свидетелями... Не отопрешься...

— Дура, так она же сама объявила, что четырех родила. Я и спросил — как. В остальном мне дела нет... Пусть хоть все купецкие девахи по пятнадцати родят. Пусть всех на войну отправляют... Препятствовать не стану... Только бы наших детей не трогали.

— Вот, вот... Правильно говорят.

— Своих, небось, при доме держат, а наших гонят. Вшей кормить... да уродов делать...

— Перестаньте, господа! — высоким голосом крикнул учитель мужской гимназии, прижав руку к виску. — Как вам не стыдно, наконец! Юную артистку чуть не до обморока довели...

В передних рядах шло шушуканье. На сцену уже раз выбегал вертлявый конферансье, но, бестолково посовавшись в стороны, исчез. Теперь он снова выбежал и шептал что-то, наклонившись к рампе. По рядам прошло: «Доктора, доктора! Илья Петрович, скорее идите».

Слышно было, как шарообразный доктор в просторном летнем костюме отказывался:

— Я ведь по тюремному ведомству. Не привык с девицами... У нас там по-другому.

Все знали, что у него обращение с больными «вовсе по-другому», но выбора не было, и тюремный доктор, раскачиваясь на ходу, потащил свое обширное брюхо за сцену. Поднялся и полицейский надзиратель со своей «половиной». «Половина», надо думать, была удовлетворена до отказа «скандалом с

воображухой» и теперь хотела взглянуть на «поверженную в прах». Ну, и нельзя же его одного к обморочной девице допускать.

За полицейской парой за сцену ушло еще несколько женщин, и занавес закрылся.

— Кончилось представление! — кричал тот же подросток, который свистал «по-жуланьи». — Только и видели, что полицейского надзирателя с женой, и то с заду. Картина последняя!

Широкобровый парень коротко приказал:

— Шурка, домой... сейчас же... без разговора.

— Зачем, Коля? — просительно спросил мальчуган, но старший брат строго пообещал:

— Завтра скажу...

Учитель гимназии, растирая висок и морщась, как от боли, между тем наставительно скрипел:

— Вот видите, до чего довели. Дикость какая, право. Хамство!

— А не хамство со стихами такими выходить? — спросил Подпорин.

— Не дискуссию же о стихах мне с вами открывать прикажете, — пренебрежительно пожал плечами учитель. — Еще Александр Сергеевич Пушкин сапожникам предлагал: «Суди, мой друг, не свыше сапога».

— Так то про искусство, — откликнулся какой-то, видимо, интеллигент, со стороны Подпорина.

— А это, по-вашему, что? Стихи или сапоги?

— Ни то, ни другое...

— Бахилы, — вставил Подпорин. — Таких мы, мастера, не шьем. Мужики сами тачают, как придется. Кожу переводят... Так хоть там сами носят, а тут мало — бумагу извели, да еще вслух такую брехню читают.

— Т-а-а-к, — растянул учитель гимназии и подозрительно насторожился. — Эти именно стихи вам не по нраву пришлись по их содержанию?

— Вроде того, — отрывисто буркнул Подпорин и весь подобрался, как перед дракой. Он оглянулся на широкобрового парня, взглянул на строгого слесаря

и, получив обратный кивок, перевел глаза на стоявшего у барьера со шляпой. Тот продолжал казаться равнодушным и чуть заметно крутил головой.

— Запереглядывались! Одна шатия! — торжествующе закричал «промежуточник».

Интеллигент со стороны Подпорина пытался было говорить о праве каждого зрителя по-своему оценивать выступления, но ему не дали.

— Еще образованный, а хулиганов защищает.

— Ученые пошли! По сапожному делу ходатаи.

«Промежуточники» теперь окончательно определили свою позицию. Они оказались передовой цепью наступающих от сцены.

Под их прикрытием кричал акцизник:

— Нет, пусть Подпорин прямо скажет, чем ему стихи не понравились. Вот при господине надзирателе пусть объяснит.

— Да хоть в участке. Не твое заячье дело, не испугался...

— Пусть и то скажет, о чем он с Терентием да с Удниковым с рабочими говорили. Там вон на травке-то сидели, когда я проходил. Забыл, поди? Напомнить надо! — впутался хорькообразный старичонка из ломбарда. И на хищном, остреньком личике, к которому с подбородка и щек как будто были привешены пучки сухого седого мха, отразилось торжество побеждающего шпики.

Парень, сидевший за Подпориным, легко поднялся и, сунув левую руку за широкий желтый ремень, сделал два шага вперед по направлению к старичонке, который оказался в проходе. Парень не сказал ни слова, но в твердом движении и в сухом блеске глаз ломбардный старичонка почувал серьезную угрозу. Он сразу сник, спрятался за других, как-то по-крысиному пискнув:

— Могу напомнить... если пожелаю...

— А ты не желай, — спокойно посоветовал парень и добавил: — Без тебя хватит собачек-то зря брехать. Побереги язык, а то чем блудить будешь в ломбарде-то своем, на оценке.

Эти спокойные слова вызвали взрыв смеха в рабочей группе, которая теперь уже вся была на ногах и, перешагивая через скамейки, приближалась к «линии боя». Пробежал смешок и в рядах противника. Многим

«промежуточникам» тоже приходилось иногда закладывать вещи в ломбард, и все знали поганую привычку оценщика осмеивать и всячески поносить заклад с целью снизить цену.

Вообще вмешательство этого ломбардного хорька оказалось на руку рабочим. Большинство интеллигенции все-таки считало себя либералами. Прямой призыв акцизника к полицейскому участку их смутил — стали уже «расходиться от скандала». Гнусное предложение ломбардного хорька сейчас же сделать подробный донос усилило желание «отстраниться от грязного дела».

Молодой, но уже непомерно раздавшийся вширь присяжный поверенный под руку с «дамой в белом» крикнул в сторону почти совсем опустевшей передней части зала:

— Господа, к драке, кажется, близко! Расходитесь скорее, пока бока не намяли. — И из дверей ворчливо добавил: — Черт знает! Какие-то юберменши из сапожников появились. Хоть театр закрывай из-за них.

— Ты, господин... как тебя... сытый барин! По-заграничному не матерись! Мы не сильно учены... Только по-русски можем. Обложу, так мадама твоя скорачь поползет. Остерегайся! — крикнул ему вдогонку Подпорин.

— О чем это он? — деловито спросил слесарь.

— Да так... Задается, что слова немецкие знает. Юберменш по-нашему сверхчеловек означает. Ему, видишь, против шерсти пришлось, что сапожник о стихах заговорил.

— Не любят этого. Все за себя захватить желают, — вставил свое слово «промежуточник», один оставшийся с рабочей группой.

— Ты-то что тут вертишься? — сурово спросил слесарь. — Ушли твои хозяева. Беги скорее... хвостиком вилять. Ну... — И слесарь двинулся, прямой и строгий, на оставшегося одиночку, который быстро отступал, бормоча: «Что ты, что ты, разве я худое...»

— Зачем так? — упрекнул Подпорин. — Может, не разобрался человек.

— Знаю я их, криводушных! Мотаются туда-сюда. А у самого сына на войне убили. Дурак!

— Вот я и говорю, может, — сглупа он.

— Пришьешь ему ума-то, ежели он базаром живет?

— Пришить не пришью, а прояснить можно, — не сдавался Подпорин.

— Городских мещан нам просвещать некогда, — неожиданно заговорил стоявший со шляпой у барьера.

— Обронил-таки золотое словечушко, — насмешливо отметил Подпорин и вместо ответа спросил: — У тебя что... шея болит?.. Головой-то все вертел?

— Есть от чего и голове заболеть. Крику на пустом месте вон сколько наделал. Целесообразно это?

— Как же ты думаешь? — обиделся Подпорин. — Так им и спускать, когда тебе в лицо харкнут?

— Ну, пошли, — предложил слесарь, — дорогой договорите.

— На вольном-то поветрии способнее, — подтвердил лохматый, корявый старичина и, понизив голос, добавил в сторону Подпорина: — Без лишних ушей про семейные дела говорят.

— Почему семейные? — запротестовал было Подпорин, но старик, обхватив его своими заскорузлыми ручищами, добродушно говорил:

— Не кипятись ты, чайник, не расплескивай воду! Промеж своих спор. Вот и говорю — семейное дело.

Когда прошли оба моста через Курейку и Пышму и стали расходиться небольшими группами по городу, разговор о целесообразности выступления в театре возобновился, но уже без прежнего задора. Подпорин, видимо, переоценил свое выступление и мирно спрашивал:

— Так говоришь, не надо было связываться?

Сысков, тоже без раздражения, стал говорить о необходимости экономить силы, не впутываться в такие дела, которые не могут дать значительных результатов, а могут вызвать ослабление сил рабочих. Кстати, пожурил Удникова, который слишком быстро переходил к «действиям». Закончил он шутливым предсказанием:

— Смотрите, не вышли бы эти стихи нам всем «с заключением».

— Не могу я, — оправдывался Подпорин. — В рожу дать хочется. От слова тут не удержишься. И этих, пустяковиков-то, жаль все-таки. Взять хоть эту чиновную блоху акцизную. Жалованьишка ему на хлеб не хватает... Жена со слезами ходит ко мне ребятишкам сапожнешки починить... А он тоже вякает... Капиталист выискался! Вот и охота в башку вбить настоящее понятие...

Стихи действительно оказались если не с заключением, то, во всяком случае, с замечанием и некоторыми последствиями.

Дня через два Подпорина и всех сколько-нибудь замеченных в «посторонних разговорах» «пригласили» к уполномоченному по военной охране города. Обрюзгший старик выпрашивал каждого поодиночке, записывал что-то, но для подписи не давал и угрожающе резюмировал: «Если будут замечены повторения подобных проступков, то мною всенепременно будут приняты меры к административному выселению за пределы губернии».

Таскали и Сыскова, хотя тот не проронил ни одного слова во время «дискуссии о стихах».

По этому случаю наши шутили:

— Тебе тоже пообещали высылку. Поделом — не молчи!